

Владимир
Сорокин

Доктор
Гарин

Владимир Сорокин
Доктор Гарин

роман



Издательство аст

Москва

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С65

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Сорокин, Владимир Георгиевич.

С65 Доктор Гарин : роман / Владимир Сорокин. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2021. — 544 с.

ISBN 978-5-17-136253-9

Десять лет назад метель помешала доктору Гарину добраться до села Долгого и привить его жителей от боливийского вируса, который превращает людей в зомби. Доктор чудом не замёрз насмерть в бескрайней снежной степи, чтобы вернуться в постапокалиптический мир, где его пациентами станут самые смешные и беспомощные существа на Земле, в прошлом — лидеры мировых держав. Этот мир, где вырезают часы из камня и айфоны из дерева, — энциклопедия сорокинской антиутопии, уверенно наделяющей будущее чертами дремучего прошлого.

Несмотря на привычную иронию и пародийные отсылки к русскому прозаическому канону, "Доктора Гарина" отличает осязаемо новый уровень тревоги: гулаг болотных чернышей, побочного продукта советского эксперимента, оказывается пострашнее атомной бомбы. Ещё одно радикальное обновление — пронзительный лиризм. На обломках разрушенной вселенной старомодный доктор встретит, потеряет и вновь обретёт свою единственную любовь, чтобы лечить её до конца своих дней.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-136253-9

© Владимир Сорокин, 2021
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021
© ООО "Издательство АСТ", 2021
Издательство CORPUS ®

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Санаторий “Алтайские кедры”	9
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. На север	113
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Барнаул	207
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Матрёшка	287
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Глаз в небо	361
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Белая ворона	393
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. Белый ворон	489
Примечания	537

Голос Зрения. Его губы принимают вкрад-
чивое выражение.

Голос Слуха. Он снова спрашивает: “Как
ваше здоровье?”

Велимир Хлебников. *Госпожа Ленин*

— Я люблю вас, доктор, — прошептала она.

Антон Чехов. *Цветы запоздалые*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Санаторий “Алтайские кедры”

*Любезный и временно далёкий друг мой,
многодостоцитимый Платон Ильич!*

Ни на секунду не сомневаясь в том, что времена наши пожрутся мраком забвения под натиском немилосердных стихий, тешу себя утопической надеждою, что письменные свидетельства о нынешнем времени всё-таки переживут его. Не осуждайте же мою капризную настойчивость, ибо временами я чувствую себя если не Страбоном, то уж непременно новым Пименом, и с этим решительно ничего нельзя поделатъ. Я обязан свидетельствовать. О прошлом. О будущем. И о настоящем.

Сперва отвечаю на человеческий вопрос Ваш: живётся мне по-прежнему здорово, глухо и смирно, но совсем недурно в тени роскошного и монументального фейерверка кровавой грязи, который здесь бьёт и бьёт, вовсе не собираясь иссякать. Белые бомбомёты, мокрые ремингтонисты, коммунистические капиталисты, жох и ничка, чжуаншипинь, мокрая шпана, полька с ходом, старые убивцы, поперечный аэропиль, бас Шалапина и художественный свист Сюй Моу в небе московском — всё это навеки с нами и по сей час. Как старый моллуск, я благодарю свою толстую раковину. Она

позволяет мне быть спокойным и не кривлять тело в вынужденных прогибах. А также вовремя уползать окороч в мой любимый приграничный Сокольнический лес, который, слава Богу, ещё не весь изрублен на гробы.

Вам полезен крепительный воздух Алтайских гор, мне же — шум подмосковного леса.

Чашка цикория на завтрак, цыплятина на обед, ломоть тёплого хлеба с козьим маслом, сбитым моей любимой женой, да ромашковый чай с нашим же мёдом на ужин — что ещё надобно писателю сверх этого?!

Моя изъеденная шашелем конторка “безнадёжного, но до омерзительности неутомимого дилетанта” (как выразился наш беспощадный критик Вульфсон) ещё не развалилась, рука держит гусиное перо, а ноги — тело.

Хорошо известный Вам жёлтый портфель мой пополняется.

Итак, ни на йоту не обинуясь, спешу сообщить, что за последние трое суток никаких землетрясительных событий в Московии не произошло. Расстрелы пока прекращены. Слава Богу! Меня по-прежнему не печатают. Увы! Но я помню Ваши мудрые слова, коими Вы напутствовали меня при выписке из Вашего сверхчудодейственного санатория: “Не стирайте надежду. Надежда — не одежда”. Вы всегда изъяснялись сверхмудрыми загадками-пословицами, которые я разгадывал позже. Прошли эти месяцы, и разгадалось Ваше алтайское напутствие: настоящая надежда пообноситься не может, её невозможно снять, выстирать и надеть снова. Ибо, как только ты её снял — перестал надеяться! И это уже не надежда, а одежда. Подлинную надежду надобно и грязенькой любить! Так что я свою надежду в прачечную нести не собираюсь. Надеюсь, надеюсь и буду надеяться.

Вот, собственно, и все новости.

Чувствую себя я вполне. Приступов нет. На Глашу с пресс-папье не бросаюсь. Недотыкомок не видать. Так

что на *fortissimo vivacissimo* моей выписки из Вашей обители здоровья я совершенно не сержусь. В нашем безумном и гнойно-весёлом мире и не такое случается. Три с половиной месяца вместо шести — вполне для моей психосомы.

Засим остаюсь вечным и верным другом Вашим, неизменным поклонником Вашего эскулапского таланта, преданнейшим литературным моллуском со своим жёлтым портфёлем,

Евсей Авигдорович Восков.

P. S. Позвольте ещё раз сердечно поблагодарить Вас за моё выздоровление. За ваш метод, за психиатрический гипермодернизм. Этого я не забуду никогда, помирать стану, а доктора Гарина с его *blackjack* вспомню.

P. P. S. Позвольте также присовокупить к письму несколько глав моего нового весёлого, человечного (и уже многострадального!?) романа. Буду чрезвычайно рад отзыву, даже самому беспощадному.

Гарин провёл пальцем с прокуренным ногтем по голограмме письма, висящего в утреннем солнечном воздухе над его рабочим столом. И пополз текст романа:

Евсей Восков

MILK'N'ROLL,

или

ЗАЧЕМ ТЕБЕ АМЕРИКА, ДЖОННИ?

роман

I

26 марта 1953 года несравненный в своей решительности Лаврентий Берия арестовал и расстрелял омерзительных, окончательно и бесповоротно окостеневших в позднебольшевистской мизантропии и неменяемости Хрущёва, Жукова, Ворошилова, Молотова, Кагановича и объявил Новый НЭП. К тому смутному времени в высшей степени добропорядочная и по-настоящему богобоязненная семья Бобровых тихо и скромно проживала в своей безнадежно уютной деревеньке Ропшино, что на Пахре. Новые идеи дунили из Кремля подобно ветру весеннему. Измученная послевоенной, болезненной и беспросветной в своем убожестве колхозной жизнью, семья Петра потянулась к этому ветерку великих перемен, подобно первым подснежникам.

— Молоко... — произнёс Пётр, зайдя в недавно и с такими нечеловеческими мучениями подновленный хлев и глядя на тощую корову Дочу, жующую подгнившее сено.

В полутьме хлева, наполненного густым и живительным запахом навоза, ему пришло в голову простое и ясное: скоперировавшись с братьями Иваном, Фёдором и Павлом, с шурином Хапишкой, взять ссуду в Сберкассе, купить двенадцать коров, пару битюгов, сенокосилку, маслобойку, делать масло, творог, сливки, сметану и продавать в Москве...

В то же самое время в далёком Канзасе молодой человек привлекательной наружности по имени Джонни Уранофф, сидевший с гитарой у телевизора и слушающий новости из далёкого СССР, вдруг замер, словно укушенный назойливой, опасной и бесцеремонной канзасской осой, отложил гитару и со всех своих молодых, бодрых и бескомпромиссных сил хлопнул себя по коленкам:

— Рок-н-ролл!

Палец Гарина закрыл приложение и письмо.

— Ежи ножи не точат, — пробормотал он и откинулся на спинку удобного *умного* кресла, которое тут же задвигалось и заурчало под массивной спиной доктора, принимая нужное утреннее положение и начиная массаж.

Гарин распечатал новую коробку папирос “Урал”, взял папиросу, постучал гильзой по коробке, впихнул папиросу в свои большие губы, имеющие неизменно жабье и недовольно-плаксивое выражение, зажёл спичку, закурил и, выпуская дым, сильнее откинулся в урчащем под ним кресле.

Надел пенсне на большой нос с сетью лиловых прожилок, глянул в широкое тройное окно. Залитый утренним солнцем кедровый бор отсюда, со второго этажа санатория, радовал вечно заплывшие глаза Гарина. Он курил, шумно и с наслаждением втягивая и выпуская дым. Бледно-голубое апрельское небо на востоке было смазано, словно растопленным сливочным маслом, еле заметными перистыми облаками. Через приоткрытое окно из бора долетали голоса токующих дроздов.

Массивной рукой Гарин сгрёб со стола пустую папиросную коробку и швырнул в урну. С коробкой в урну был выброшен и вчерашний день — суматошный, длинный, утомляющий, не принёсший удовлетворения.

— Тёплое — не холодное...

Докурив папиросу и дождавшись завершения массажа, Гарин встал и подошёл к окну. Раскинувшийся во всём великолепии залитый солнцем бор почти сплошь состоял из кедрача; редко темнели в нём ели да светлели берёзы с каплями набухших, позеленевших почек. За лавиной уходящего вдаль бора синели и белели снегами Алтайские горы.

— Весна пришла, но смерть не нашла... — пробормотал он и привычным движением щёлкнул по оконному стеклу своим крепким ногтем.

Весна в этом году была ранней, даже слишком ранней. Снег сошёл уже на первое апреля, лишь в бору он кое-где виднелся; вокруг валунов из мха и старой травы вылезли подснежники, белая ветреница и лиловый кандык; почки на кустарниках лопались. И дрозды, дрозды захватили бор. Их утренний ток перекрывал и далёкое чуфырканье тетерева, и сочное щёлканье редких соловьёв, и одинокий голос кукушки.

Гарин подошёл к столу, нажал кнопку старомодного, ещё советской эпохи селектора.

— Слушаю, Платон Ильич, — раздался голос сестры-секретарши.

— Маша, выход.

— Ждём вас.

Он пересёк свой просторный кабинет, открыл платяной шкаф, где висели его пальто тёмно-коричневого кашемира, серый костюм и белый халат. Надел халат, застёгиваясь, пошёл к зеркалу, напевая: “Нет, не тебя так пылко я люблю”. Зеркало отразило главврача санатория “Алтайские кедры” Платона Ильича Гарина во весь его внушительный рост: высокий, полный пятидесятидвухлетний мужчина с выбритым черепом, массивным брылястым лицом и большой бородой, уже слегка тронутой сединою. Усы, как и голову, доктор Гарин брил. На большом и упрямом носу блестело золотое пенсне, цепочку от которого он неторопливо пристёгивал к пуговице халата белыми и толстыми, как баварские телячьи сардельки, пальцами. Закончив, осматривая себя заплывшими глазами, он огладил халат, сунул руки в глубокие карманы,

нащупав в одном из них зажигалку, в другом — сандаловые чётки. И качнулся на титановых ногах, матово сияющих в солнечных лучах под халатом, обутых в светло-коричневые ботинки. Во вверенном ему санатории доктор Гарин принципиально не носил брюк, не скрывая своих титановых нижних конечностей. И на первые деликатные вопросы коллег отвечал лаконично:

— Die ewige Erinnerung¹.

Больше вопросов не было.

Гарин круто развернулся, подошёл к стене с картой Республики Алтай, утыканной разноцветными булавками, глянул на старый немецкий барометр, показывающий хорошую погоду. И снял с гвоздя короткую, с пивную бутылку, чёрную резиновую дубинку blackjack с утолщением на одном конце и кожаной петлей на другом. Продел левую руку в петлю и вышел из кабинета в коридор. Размашисто двинулся по нему в сторону светлого холла, постукивая дубинкой себя по бедру. Титановые ноги его шагали без какого-либо специального звука.

В холле на бежевых диванах сидели двое врачей, трое медсестёр и двое рослых санитаров. Все они сразу встали, завидя приближающегося Гарина.

— Доброе утро, господа! — громко приветствовал их Гарин издали.

— Доброе утро, Платон Ильич! — ответили медики.

Гарин подошёл, протянул руку врачам, они пожали её с лёгким деловым поклоном. Медсёстры сделали книксен, санитары поклонились.

— Похоже, погода нам по-прежнему благоприятствует! — заговорил Гарин своим громким рокочу-

1 Вечное напоминание (нем.).